

Алексей  
ЧЕРКАСОВ  
Полина  
МОСКВИТИНА

---



# ХМЕЛЬ

*Полине Москвитиной*

Без твоего мужества в трудные годы, без твоего истинно творческого участия, когда мы вместе создавали замысел Сказаний, вместе работали, переживали горечи неудач и счастливые минуты восторга, без такого творческого союза, друг мой, я никогда бы не смог написать Сказаний о людях тайги.

*Алексей Черкасов*

## НАПУТНОЕ СЛОВО

**Б**ЫЛО так... 1941 год, канун Октября. Напряженное ожидание чего-то важного, чрезвычайного, что должно произойти не сегодня-завтра. Белые и красные флажки на географической карте столпились возле Москвы и вокруг Ленинграда. Каждое утро, после того как с телеграфа приносили в редакцию сводку Совинформбюро, мы собирались у карты, молчали и угрюмо расходились по своим углам; шли напряженные бои за Москву...

В один из таких дней в редакцию пришло довольно странное письмо из деревушки Подсиной, что близ Минусинска. Письмо попало ко мне. Я читал его и перечитывал и все не мог уразуметь: о ком и о чем в нем речь? И что за старуха пишет в таком древнем стиле:

«Вижу, яко зима хоцет быти лютой, сердце иззябло и ноги задрожали. Всю Предтечину седмицу тайно молюся, и слышу глас Господний. Время не приспе: и анчихрист Наполеон у град Москвы белокаменной на той Поклонной горе, где повстречалась с ним малою горлинкою несмышленной, и разуместь не могла, что Москве гореть и сатане погибели быть. Да пожнет тя огонь, аще не зазришь спасения. Погибель, погибель будет. И лик Гитлеров распадется, яко тлен иль туман ползучий, и станет анчихрист Наполеон прахом и дымом...»

Вот и пойми: «Лик Гитлеров распадется, яко тлен иль туман ползучий, и станет анчихрист Наполеон прахом и дымом...» И что за малая горлинка, которая виделась с Наполеоном? После нашествия Наполеона минуло сто двадцать девять лет!..

Письмо было большое, написанное с буквой ять, с фитой, ижицей, прямым, окаменелым почерком. Мы его называли «письмом с того света». Под письмом стояла подпись: «Ефимия, дочь Аввакума из Юсковых, проживающая в деревне Подсиной у Алевтины Крушининой».

Интереса ради, да и к тому же попутно по дороге в Минусинск, заехал я в деревушку Подсиною и отыскал бревенчатую избенку Крушининой, наполовину вросшую в землю. Три подслеповатых окошка, завалинка до окна, ограда в три жердины, копна сена в огороде, корова у копны и снег, снег до берега Енисея.

В избе на деревянной кровати на лохмотьях жались ребятенки — похожий на одуванчик мальчишка лет трех и две девочки-погодки — лет семи

и шести. Я поздоровался, но мне никто не ответил. Ребятишки еще теснее сплелись в клубок.

— Мамы нету. Она на ферме, — предупредительно сообщила девочка по-старше.

— Ну а бабушка Ефимия у вас проживает? — спросил я.

— Вон она, на печке дрыхнет, — выпалила старшая.

В избе было довольно прохладно. Я спросил: где же их отец? Мальчонка скороговоркой сообщил:

— Папку убили фашисты на войне.

Разговор с ребятами потревожил бабу Ефимию, и она, откинув занавеску, поглядела с печи...

Голова ее была совершенно белая. Ястребиный нос пригнулся чуть не до верхней губы. Лицо было до того перепаяно морщинами, что никто бы не мог угадать, какой была старуха в молодости. На мой вопрос, не она ли написала письмо в редакцию газеты, старуха охотно подтвердила:

— Кто же за меня напишет? Сама. Сама. Анчихрист, анчихрист Наполеон. Детей вот осиротил и горем землю заполнил. Сгинет он в пожаре, сгинет.

Я сказал, что Наполеона давным-давно в помине нет и что война идет с Гитлером, с фашистской Германией. Старуха проворчала что-то, поворочалась на печке и медленно слезла, кутаясь в рваную шаленку. Сказала:

— Не сообщно глаголать то, чего не ведаешь, раб Божий. Сказано: сатанинское — в сатану вменяется; Саулова — в Саула, Исавова — в Исаву. Рече про Гитлера, а он — сатано Наполеон. Видала я его, треклятого. Ноги толстые, обтянутые белыми штанинами, и ляжками дрыгает. И губы, яко скаредные, продолжные. Не брыластый. Нет! Брыластые добрые.

Старуха пояснила: «брыластый» — толстогубый, значит. Так говаривали, дескать, в старину.

Я все-таки не верил, что старуха виделась с Наполеоном, и она еще раз подтвердила:

— Как же, как же. Как вот с тобой теперь. Ближе даже.

— После Наполеона, бабушка, много воды утекло!

— Много, много. И воды, и грязи. И морозы были. И тепло было, и люди были, и звери были. Молодые гибли, как солома на огне. А я живу, муцаюсь и не зрю века. Ох-хо-хо!

Я невольно поинтересовался, сколько же ей лет.

— Да вот с предтечи сто тридцать шестой годок миновал. Год-то ноне от сотворения... Зажилась, должно. Аще не днешь, умрем же всяко. И рече Господь: ходяй во тьме, невесть камо грядет. Не сделай беды, да и не сгинешь во зле.

— И паспорт у вас есть, бабушка?

— Лежит, лежит пачпорт. Не мне — на ветер дан. На пришлых да встречаемых. Покажу ужо. Покажу. Глянь. Глянь...

Паспорт советский, самый настоящий, и выдан был в городе Артемовске в 1934 году. Год рождения — 1805-й!

Спустя много лет Ефимия заговорила у меня в Сказании «Крепость», и я услышал ее голос, увидел ее живые черные глаза, глубокие и живые в девичестве, но она ли это? Та ли Ефимия, с которой встретился я тогда в избушке?

«Я так вижу», — сказал один большой художник.

Много, очень много было встреч с людьми сибирской тайги и особенно с крепчайшими раскольниками-старообрядцами — не с волжскими, описанными Мельниковым-Печерским, а с непримиримыми, которых при всех царях гнали этапами в Сибирь.

Особенно памятной для меня была была, рассказанная делом, Зиновием Андреевичем Черкасовым, о декабристе, нечаянно встретившемся с общиной

поморских раскольников где-то на берегах Ишима в бывшей Тобольской губернии. Этот декабрист был моим прапрадедом.

Так по крупинке из года в год собирались впечатления, раздумья, поука не вылились в романах Сказаний.

Да, я их такими вижу, больших и маленьких героев Сказаний! Увидит ли их такими же взыскательный читатель?

## СКАЗАНИЕ ПЕРВОЕ

### КРЕПОСТЬ

Сторона-то ты, сторонушка  
 Далекая, сибирская!  
 Лесами ты богатая,  
 Зверями непочатая,  
 Народ в тебе, сторонушка,  
 Со всей России-матушки:  
 С Волги, с Дона тихого  
 Шли люди, духом смелые,  
 Удалью богатые!..

### ЗАВЯЗЬ ПЕРВАЯ

#### I

Чуждо и дико гремело железо в ковыльном безмолвии. «Тринь-трак, тринь-трак», — слышались кандалные звуки.

Степь и степь...

Как моря синь, как неоглядная голубень июльского неба, равнинная степь. Хоть бы лесная опушка, кустик ли — кругом голым-голо. Хоть бы капля дождя упала на отвердевшую, как камень, местами лысую землю с выступающими островками солонцов.

Человек, закованный в кандалы, брел степью неведомо куда, не чая, выйдет ли к чему живому или упадет и никогда уже не подыметься.

Каторжанские коты на деревянных подошвах, негнущиеся, тяжелые, затрудняли движения колодника, и он часто останавливался, вытирая рукавом серой арестантской куртки пот с лица.

Следом за колодником прыгала гривастая, низкорослая гнедая кобылица с таким же гнеденьким жеребенком-сосунком. У кобылицы была повреждена левая передняя нога — и она скакала на трех. Жеребенок то забегал вперед, то плелся сзади, то уносился по степи в сторону, и тогда кобылица печально и призывно ржала.

Третьи сутки тащила лошадь за колодником. Она подошла к нему ночью при полной луне и, когда колодник попробовал поймать ее, дико фыркнула и ускакала прочь. Потом снова вернулась и шла за ним на некотором расстоянии. Откуда она появилась в безводной степи и что ее тянуло к человеку, которому она не хотела даваться в руки, — так и осталось загадкой для колодника. Холка и шея у нее были избиты и затянулись коростой. Может, кто-то из обоза, что шел по Московскому тракту, бросил изувеченную кобылицу вместе с жеребенком, и она, плулая по степи, набрела на такого же

одинокого человека и шла теперь за ним, томясь, как и человек, желанием скорее добраться до пресной воды — к речке ли, к озеру, хотя бы к лужице.

Если колодник, изнемогая от цепей, падал на землю, кобылица ждала, когда он встанет, жеребенок тем временем тыкался мордой в вымя матери, где, наверное, не было ни капли молока.

Кудрявым маревом иссыхала налитая зноем пустынность, и не было ей конца-краю. Куда ни кинь взор — всюду синее, смыкающееся с небом, равнинное безмолвие; никлый, устоявшийся ковыль, распустив сизые усы, переливался от шалого ветра лиловыми барашками. Иногда по степи проносился вихрь, трепал космы ковыля, и опять все утихло, томилось в жарких лучах солнца, накаляющих воздух и землю. В такую пору над истомленной степью не парит даже птица, не встретишь ни зверя, ни косяка диких коз и лошадей, каких немало водится в степном приволье. И все-таки степь жила какой-то особенной, неторопливой и трудной жизнью. Где-то пролегал Московский тракт, проезжали государевы почтовые кибитки; скакали на четверках фельдъегеря с форейторами; плелись груженные товарами купеческие телеги на железном ходу; тархтели надменные подводы с пассажирами, а временами по тракту гнали арестантов, закованных в цепи, и колодник, выйдя на тракт, вряд ли обрадовался бы встрече с партией каторжан, угоняемых на рудники в Сибирь.

Степь и степь!..

«Тринь-трак, тринь-трак», — вызванивали цепи.

Голубая суконная куртка с двумя желтыми бубновыми тузами на спине — знак государственного политического преступника — покрывала широкие плечи колодника. Он был высок, хотя и сильно сутулился. Его светло-синие глаза ввалились и казались большими, округлыми; на щеках, опаленных солнцем, шелушилась кожа; кудрявая борода золотой подковкой обрамляла прямоносое исхудалое лицо. Арестантский колпак он разорвал на лоскутья и подложил под железные браслеты на ногах. Сыромятный ремень, который поддерживал кандаальную цепь на ногах, соединенный с цепью на руках, служил поводком, за который он держался одной рукой, а другой тащил суковатую палку. Кандаальные кольца были наглухо заклепаны.

Озираясь, колодник испуганно пробормотал:

— Курган! Опять тот же самый курган... О, Господи, в пятый раз выхожу на это же место!..

Действительно, впереди возвышался курган. Но тот ли самый?.. Колодник подошел ближе и увидел помятую траву и несколько свежих лунок.

Некоторое время он тупо созерцал место, куда вышел в пятый раз, потом ударил палкой по комку земли и вдруг услышал за спиной голос: «Мичман Лопарев».

Он вздрогнул, выронив палку и мгновенно обернувшись: никого не было, кроме кобылицы с жеребенком. «Но я же слышал, слышал... Клянусь девятью мужами славы, то был он! — вспомнил хриловатый, лающий голос коменданта Петропавловской крепости генерала Сукина. Фамилия генерала была под стать его должности. — Или опять показалось? Ночью голос Рылсева слышал, а сейчас — Сукина...»

Он упал на примятую траву и долго лежал так, к чему-то напряженно прислушиваясь и бормоча:

Царь наш — немец русский,  
Носит мундир прусский...  
Ай да царь, ай да царь!  
Православный государь!  
Трусит он законов,  
Трусит он масонов...

Ай да царь, ай да царь!  
 Православный государь!  
 Только за парады  
 Раздает награды...  
 Ай да царь, ай да царь!  
 Православный государь!  
 А за правду-матку  
 Прямо шлет в Камчатку...  
 Ай да царь, ай да царь!  
 Православный государь!

«А за комплименты — голубые ленты», — вспомнил еще и, подняв голову, похолодел: будто совсем рядом, рукой подать, в струистом мареве — Санкт-Петербург, Сенатская площадь... Та самая! И Медный всадник, придавив копытными чугунно-черную гадоку, простирал руку к реке, указывая колоднику на золотой шпиль Петропавловского собора и на крепость, стену которой омывали прохладные воды Невы.

— Боже, Боже... — простонал он, привстав на колени и неотрывно глядя на причудливый мираж. — Я вижу, вижу!.. Неву вижу! Шпиль вижу! Крепость!..

Вот она — Нева, северная жемчужина славян, счастье водное. Вот она, совсем рядом. Иди же, колодник, и утоли жажду. Забудь, что ты затерялся в пустынной равнине за Каменным поясом — Уралом. Нева, Нева!.. Ты слышишь, колодник, как плещутся ее благодатные воды?..

Мираж постепенно отдалялся и таял в жарком полуденном мареве.

— Я же видел, видел! — воскликнул он, с ужасом глядя на необозримую степь: уж не лишился ли ума от жажды? Он знает: в степи нередко можно увидеть мираж, но почему именно примерещились Сенатская площадь, Медный всадник, золотые купола Петропавловского собора и сама Нева?..

Колодник заплакал и снова уткнулся лицом в скрипучий ковыль.

В больном воображении пронеслась одна картина за другой — и так явственно, точно все происходило вчера.

Улица города Ревеля... Он спешит к прохладе и пьет, пьет и никак не может напиться. Он один среди прохожих, совершенно незнакомых. Море где-то далеко-далеко, за тридцать долин. И есть ли вообще море, прохладные реки, утоляющие жажду?.. Страх сковывает его: он боится поднять голову — опознают... И тут, на людной улице, чья-то тяжелая рука в перчатке ложится ему на плечо:

— Мичман Лопарев!

Он не успевает ответить: перед ним жандарм.

— Вы арестованы.

— Пить... пить. — Он облизывает губы.

Жандарм сухо отвечает:

— Нет для вас воды, нет для вас моря, а есть вечная безводная степь в Сибири, за Уралом, и вы умрете от жажды, государственный преступник Лопарев! Следуйте за мною!

«Если бы я тогда не задержался на сутки в Ревеле, я мог добраться до Варшавы, а там — к Юлиану Сабинскому, к Ядвига, — подумал Лопарев, переживая минувшее в своей нелегкой судьбе. — Нет, я их не выдал. Ни Ядвигу, ни Юлиана, ни Мстислава со Станиславом. Венценосец не вымотал из меня признания, нет! Ты слышишь, Ядвига?..»

Черные, ищущие глаза Ядвиги придвинулись к его лицу. Она все такая же — чуточку насмешливая, капризная полячка, но самоотверженная и бесстрашная, как и ее двоюродный брат Юлиан... Лопарев и Ядвига в полутем-

ной гостиной дома Сабинских пьют старое вино; на улицах Варшавы гроза и дождь.

Он пьет вино и говорит стихами Кондратия Рылеева:

Ревела буря, дождь шумел;  
Во мраке молнии блистали,  
И непрерывно гром гремел  
И ветры в дебрях бушевали...  
Ко славе страстно дыша,  
В стране суровой и угрюмой,  
На диком берегу Иртыша  
Сидел Ермак, объятый думой...

Ядвига спросила:

— Кто такой Ермак?

Он ответил.

Ядвига печально промолвила:

— О matka боска! Только бы не в Сибирь. Мне страшно за всех вас. Только бы не в Сибирь!

— Ядвига! Ядвига! Где ты? — зовет он в испуге.

...Безмолвие и полуденный зной, от которого нигде не укрыться...

— О, Боже! Конеч мне, конец... — стонет колодник, прижимая лицом ковыль.

Где теперь Ядвига Менцовская? Юлиан Сабинский? Где они все, варшавские друзья? Он никого не предал, никого не назвал...

— Ты спишь в тринадцатой камере, жалкий мичманшк! — рычит генерал Сукин.

Тринадцатая камера в Секретном Доме...

Камера с голосами призраков...

Колодник слышит пронзительный крик:

— Назови сообщников в Варшаве! Назови сообщников в Варшаве!

— Не было, не было сообщников... — стонет он. Но... чу! В уши бьет материнский голос:

— Сашенька! Сашенька! — Не голос, а мученическая мольба израненного сердца. — Что ты наделал, Сашенька! Как ты мог скрыть от меня и от отца крамольную тайну? Закружили тебя бесы, Сашенька, закружили, запутали. Покайся, Сашенька! Царь милостив — простит. И я буду молиться. Закружили тебя бесы...

«И я закружился в проклятой степи, — с горечью подумал колодник. — Бесы закружили, видно: в пятый раз я вышел на этот курган. Может, и в жизни так — кружимся, кружимся, а выбиться на дорогу не можем?..»

Руки матери теплые, желанные.

— Сашенька...

И сразу же, как в пекло головой: лицом к лицу с генерал-адъютантом Чернышевым.

Генерал-адъютант вкрадчиво допытывается:

— Смее спросить: кого же вы прочили в Буонапарты России? Пестеля? Рылеева? Или Муравьева-Апостола? Кого же? Я, смее заверить, пожил на белом свете и кое-что повидал, не исключая самозваного императора Франции. И вот — Конституция вашего тайного общества, кою вы собирались огласить народу, если бы вам удалось... Кого же вы готовили в Буонапарты?

«Нет, нет, нет! — стонет колодник, выдирая руками ковыль. — Мы не готовили Бонапарта для России. Нет, не готовили...»

«Закружили тебя бесы, Сашенька, закружили, запутали. Покайся, Сашенька! Царь милостив — простит...»

— О, Боже!..

Он вскочил, гремя цепью. Перекрестился. Перед ним — все тот же курган, изнывающая в зное ковыльная степь.

## II

Бывший мичман гвардейского экипажа, участник декабрьского восстания Александр Лопарев, 1803 года рождения, государственный преступник, осужденный по третьему разряду известного царского алфавита к двадцати годам каторжных работ и к вечному поселению в Сибири, три года отсидевший милостью царя в Секретном Доме Петропавловской крепости, бежал с этапа...

Седьмого июля 1830 года этап остановился на привале у гнилого озера. Вода была вонючая, мерзкая. Берега поросли камышом: войдешь, — и потеешься, как в лесу. Уголовники, какие шли в Сибирь вместе с Лопаревым, собирали на берегу сухой камыш и жгли его возле багажных кибиток.

Ночью разыгралась гроза с проливным дождем, и Лопареву не спалось. Жандарм Ивашинин храпел рядом. «Бежать!» — будто услышал Лопарев чей-то голос.

Бежать... Берегом озера, подальше в степь от своей злосчастной судьбины! Думалось: верст десять-пятнадцать пройти степью, а там...

И Лопарев ушел.

Всю ночь брел под дождем, неведомо куда; с рассветом передохнул и поплелся степью дальше. Трижды встречались ему озера — солоноватые, горькие, но Лопарев не брезговал, утолял жажду, и все шел, шел...

На вторые сутки повернул на запад, к тракту, как думал, но степь так и не разомкнула своих жарких объятий.

После грозы и дождя наступила иссушающая зной.

Знает ли кто, что такое степь безводная? Есть ли другое место на земле, где все так чуждо человеку, где земля бела от соли, а от необоримой жары сохнут даже глаза?

Под вечер пятых суток, когда солнце ткнулось в горизонт, у ног Лопарева мелькнула тень.глянула кверху — орел! На сажень в размахе крыльев. Лопарев даже слышал, как шумели они, когда птица кружила над степью. Кобылица и жеребенок жалась к нему, как бы моля о защите. Лопарев судорожно сжал палку, и в тот же миг орел камнем упал жеребенку на спину. Лопарев ударил орла, тот неустово забил крылом, словно подгоняя свою жертву. Лопарев, задохнувшись, ударил еще и еще уже из последних сил, и потом, когда окровавленная птица рухнула наземь, долго топтал ногами ее бесформенную тушу. Надрывный и тонкий крик жеребенка влетался в тревожное ржание кобылицы. Так и стояли они вместе с человеком, будто судьба связала их одной веревкой...

В ночь на шестые сутки Лопарева одолевали видения: то мерещилась ему тринадцатая камера Секретного Дома; то кидала его соленая морская волна, и тогда еще сильнее томил жажду; то чудился ему двуглавый серебряный Эльбрус...

О, Ядвига, Ядвига!..

Лопарев повстречался с пани Менцовской на водах, где она была вместе с Юлианом Сабинским, своим двоюродным братом. Сабинский слыл за ученого, говорил свободно на многих языках и держался с большим достоинством. Но Ядвига, Ядвига... Она будто никого не замечала, и никто не решался приблизиться к ней, кроме молодого князя Темирова, гвардейского поручика. Внезапно они рассорились. Как и что произошло, Лопарев не знал.

Возвращаясь с прогулки, уже после размовки с гвардейцем, Ядвига под-



вернула ногу. У самой тропки, которой начинался подъем на Бештау, Лопарев услышал зов о помощи.

«Я бежал на этот голос, словно олень, — восстанавливал он в памяти и вновь переживал ту встречу. — Я бежал бы вечность. Я узнал ее тотчас, и мне почему-то стало страшно. Ползком Ядвига пыталась достигнуть дороги, ведущей в город. С ужасом глядела я на ее маленькую ножку, еле прикрытую изодранным платьем. Потом я увидел лицо Ядвиги: в слезах оно было прекрасным! Ее локоны ниспадали к плечам, а белая шляпка, перехваченная у шеи резинкой, была откинута за спину. Я стоял, не зная, что делать, и, вероятно, выглядел глупо, без конца бормоча сладостное сердцу имя.

«Нога... О, matka боска!.. — со стоном проговорила Ядвига и что-то добавила по-польски, но я не понял. — Помогите ж мне!»

Осмотрев ногу в тонком чулке, я сказал, еле ворочая языком, что перелома нет, а только опухоль у щиколотки. Ядвига смотрела на меня, смитывая слезы. Я и теперь их вижу. Потом она спросила, знаком ли мне поручик Темиров. Да, я знал князя, отчаянного дуэлянта и скандалиста. «Он обидел вас, пани?» — спросил я. Губы ее дрогнули. «Нет такого поганого русского князя, который что-либо мог сделать з мною!» — со злостью выговорила Ядвига, и я догадался, что между ними что-то произошло на Бештау. Затем она сказала, что больше никогда не поедет на кавказские воды, и пусть будут прокляты поганые москвиты, пусть будет проклята Россия, погубившая ее отца, который бежал во Францию и умер там в изгнании. Я отвечал: «Россия не виновата, пани. Цари — еще не Россия. Разве, говорил я, презренный Наполеон был вся Франция? Он был изгнан с позором, а прекрасная Франция осталась, и французы остались французами... Так и у нас в России будет: настанет время, и презренных царей уничтожат, а Россия жить будет, и народы жить будут...»

Что я еще говорил?.. Ах да, — о ней, о ее красоте... Говорил о своей матери: она ведь тоже из Кракова, полячка, о друзьях моих рассказывал, особенно о тех, кто побывал во Франции, в Париже. О, с какими мыслями многие из них вернулись оттуда: о свободе народной они говорили, о революции, о конституции... Правда, я и словом Ядвиге не обмолвился ни о Северном, ни о Южном обществе, но дал ей знать, что в России есть люди, способные покончить с самодержавием.

Как удивилась и обрадовалась Ядвига. «О, matka боска! — воскликнула она, сжимая мои руки. — Увижу ли свободную Польшу?» И я почему-то уверенно сказал, что настанет день, когда ее мечты сбудутся.

А теперь... Так много времени прошло! Но я не забыл ни Ядвиги, ни наших разговоров. Стремления, мечты мои и Ядвига — все это слилось в одно целое.

Даже в стенах Секретного Дома, с глухонемыми надзирателями, ее образ не покидал меня. Ядвига была утренней и вечерней моей звездой. Не было во мне большего желания, чем видеть и видеть ее, но мечтам этим не суждено было сбыться. И вот в горький час жизни моей, в этой безводной сибирской степи, я с нею и будто ощущаю ее теплые руки и вижу грустные ее глаза. Мне неотступно слышится грудной тембр ее голоса: «Я буду любить тебя. Ты хочешь этого? Я буду любить тебя, видит Бог, говорю правду...»

— Ядвига, я перенес все пытки, но не предал нашу мечту... Ты слышишь, Ядвига, меня не сломили... И снова готов идти той же тернистой дорогой. Слышишь?

Безмолвие и тяжкая, тяжкая ночь...

Ты помнишь, как я нес тебя на руках в город? Твои руки были теплы и пахучи, а вся ты — невесомая, жаркая... О, как хотелось бы, чтобы это повторилось...

И все-таки ты не могла понять меня до конца: я не мог стать католиком,

как ты хотела. И не потому, что я православный, — совсем нет: наша религия одна — на плаху венценосцев, свободу народам! Польскому, русскому, всем народам, населяющим империю под двуглавым орлом. Понимаешь ли ты меня?..»

Но кругом то же безмолвие и тяжкая ночь...

После знойного дня земля отдает свое тепло. Колоднику худо в степной духоте, и бредовые видения снова кидают его с волны на волну, как щепку в море.

Он опять с Ядвигою — там, на Бештау. И знойно, и душно, и нет ни глотка воды. Но он, колодник, несет на руках Ядвигу не в сторону Пятигорска, а к себе на Орловщину, в деревню Боровиково, в отцовское имение. Там у них парк с прохладною, такой чудесный пруд и вода, вода, кругом вода!

Но куда же за ними скачет хромая кобылица с жеребенком? Или она так и будет за ними скакать вечно? «Не гони ее, Александр, — шепчет Ядвига. — Пусть она будет с нами. Но куда же мы? Куда идем?» И глаза Ядвиги насыщены тревогою, какими он запомнил их в последний час расставания.

«Мы будем идти дальше, дальше, дальше! — бормочет колодник, вцепившись руками в хрустящий ковыль. — Ядвига, ты слышишь? Мы должны идти дальше!..»

Колодник очнулся от призывного ржания кобылицы. Над степью все выше поднималось синее небо, а ему, колоднику, хотелось бы еще вернуть себе Ядвигу и движение, движение по каменистой тропе... Он, колодник Лопарев, должен встать и идти... «Но что теперь в том... Настал конец. Мой конец, Ядвига! И если я погибну здесь, помни: тебе завещаю жизнь и счастье.

Жизнь и счастье...»

### III

Уже занялась над степью предутренняя голубень, когда Лопарев увидел зарево. Будто и близко стояло оно, но не верил глазам: может, снова видение?

Какая сила подняла его с земли, он и сам не знал. Он шел и шел, а зарево было все так же далеко. Когда показалось солнце, оно исчезло совсем, и тут, в утренней свежести, почувдилось, будто лают собаки.

Лопарев упал и пополз на четвереньках. Он не мог вспомнить, куда девалась кобылица с жеребенком...

И вдруг, словно чудо, какое-то поселение открылось взору, и силы покинули Лопарева. Он позвал: «Люди!» Но было тихо. Темнел лес, — не мираж ли? Нет, зримость! Воды, воды, воды! — это было единственное, чего он жаждал, и чувствовал, что внутри у него все стореало и обуглилось.

Воды, воды, воды!..

Накинулись лохматые псы. Лопарев уткнулся головой в землю и так лежал до тех пор, пока не склонились над ним трое бородачей — один другого старше; двое тощих и длинных, — в посконных рубахах до колен, в войлочных котелках, — сивобородые, угрюмые; третий — согбенный, кривоносыый, с реденькой белой бородкой и босой; к правой ноге его была прикована пудовая гиря на железной цепи.

Отогнали собак, молча переглянулись и перекрестились ладонями.

— Эко! Человече Бог послал, — сказал длинный старик.

— По ногам и руками закованный. Беглый, должно, — дополнил другой, длинный. — Каторга!

Кривоносыый же фыркнул:

— Откуль те ведомо, праведник Тимофей, што зришь человеचे, а не сатано в рубище кандалника?

— Спаси и сохрани! — перекрестились двое.

Лопарев поднял голову: сивобородые мужики кружились перед глазами, и вся земля тоже качалась.

— Воды, воды, воды!..

— Сатано и в багрянице является, — продолжал кривоносый, пристально разглядывая колодника.

— Также, праведник Елисей! — поддакнул один из старцев.

— Ноне судному молению быть, — напомнил названный Елисеем с гирей у ноги. — Может, в яму к нечестивке ползет нечистый дух? А? Спаси и сохрани, Господи!..

Все трое истово осенили себя ладонями, отплеываясь от нечистого духа.

— Пить, пить...

— Ишь как вопиет! Воды просит, чтобы порчу навести на всех и в геенну огненную свергнуть праведников. Беда будет! Беда!

— Спаси Христос! — поддакнули двое.

— Аз же хвалу Богу воздав, вопрошаю нечистого: хто такой будешь? — оставил Елисей. — Сказывай! Крест наложи на чело свое. Ну-ка же?

Лопарев перекрестился тремя перстами.

— Сатанинским кукишем осенил себя!

— Нечистый дух!

— Святейшего батюшку позвать надо...

— Да, чтоб никто из правверцев не зрил нечистого, — напомнил Елисей. — Грех будет.

— Грех! Грех!

— Осподи помилуй!

— Пить... ради Бога! — Лопарев уперся локтями в землю.

— Изыди вон! Изыди, изыди!

— Нету для ты воды, нечистый дух! — затрясся Елисей. — Смолу кипучу хлебай, хоть от пуза, и сам варись в той смоле. Правверцев не совратить тебе, нечистый! Изыди! В геенну кипучу! Вон, вон!

— Батогами гнать надо, праведник Елисей! — подсказал кто-то.

— Пусть благодный батюшка Филарет гаянет — тогда погоним, ужо. Тоигтать будем, ужо. Пинать будем, ужо. Также славно будет Иисусе многомилостивому, Иисусе пресладкому, Иисусе многострадному! Аллилуйю воспоем на всеночном моленье.

— Воспоем, воспоем!..

Кандальник решительно ничего не разумел из всего этого.

— Благодный батюшка Филарет идет со старцами, — сообщила Елисей и опустил на колени; двое других сделали то же.

— Люди! Или вы глухи? Помогите же! — тцетно молил Лопарев, пытаясь встать на ноги.

Сутулый, тцедушный Елисей торжественно затянул:

— Батюшка Филарет наш многомилостивый, многоправедный, яко сам Спаситель, благодный и пресладкий, спаси нас от погибели!

Двое, бородами касаясь земли, разом подхватили:

— Спаси нас! Спаси нас!

Елисей воздел руки к небу:

— Духовник наш многомилостивый, отец родной наш, покровитель наш и яко Спаситель, оборони от нечистого! Сатано припоаз к становищу! Рога зрил; хвост зрил; огонь из горла исторгался и смрадный дым шел. Аминь!..

Лопарев окончательно сбился с толку. О каком сатане пела старикашка? И что они за люди? Будто мужики, и на мужиков не похожи. И кто этот их многомилостивый покровитель? Собрав все силы, он стал подыматься с земли и тут увидел, как двигался к нему некий старец, вид которого поверг Лопарева в трепет.

Старец был необыкновенно высок, с царя Петра, костлявый, прямой; на

белой рубахе до колен искрилась такая же белая аршинная борода; поверх нее лежала толстая золотая цепь — увесистый осьмиконечный золотой крест. Холщовая рубаха была перетянута широким ремнем по чреслам; длинные белые космы, ни разу, видать, не стриженные, спускались ниже плеч. Старец был бос и шел величаво, опираясь на толстый посох с золотым набалдашником и железным наконечником, — точь-в-точь Иван Грозный со старинной иконы. И такой же горбоносый.

— Кого Бог послал? — подойдя, спросил он. — Подымитесь, праведники. Спаси вас Христос.

— Спаси Христос, батюшка Филарет! — поднялись праведники, крестясь. Старец грозно огляделся.

— Где зрите Филарета? Али у алтаря, на моленье? Из памяти вышибло, должно? Не вижу Филарета, старца. И где он?

Старики испуганно переглянулись.

— Нету, нету! — подтвердил догадливый Елисей. — Бог даст, увидим. На моленье увидим, яко Спасителя. Воспоем аллилуйю, праведники, батюшке Филарету.

— Аллилуйя, аллилуйя! — воспели бородачи.

Старец стукнул посохом, сердито напомнил:

— Когда явитесь к нам батюшка Филарет, тогда и аллилуйю петь будем. Кого Бог послал — сказывайте! — кивнул на Лопарева.

Подобострастный Елисей сообщил, что вот, мол, явился нечистый дух в облике кандальника, чтобы порчу навести на древних христиан, и что он, Елисей, на какой-то миг собственными глазами увидел на сатанинском лбу рога, и огонь с дымом из пасти шел.

— Также. Также, — поддакнули старики.

— Православный я! Православный! — не выдержал Лопарев и перекрестился щепотью. — Я православный, русский...

Старец с посохом ворчливо ответил:

— А мы — люди Божьи. Не русские и не православные, а праведные христиане.

— Куда ж я, люди? Шестые сутки без крошки хлеба. Люди!.. — путаясь в словах от слабости, бормотал Лопарев.

— Никонovou щепотью молишься? — уставился на него старец. — Стал быть анчихристу молиться. Иуда брал соль щепотью, а никониане, собакины дети, купель Божью щепотью осеняют. Спасители Иисуса Иисусом зовут, как нечестивцы. За семнадцать праведных поклонов — четыре бьют; усердие Богу во мзду обратили. Аллилуйю во храме Божьем поют три раза, а не два, как по старой вере. Оттого и погибель будет.

Он тронул посохом кандалы:

— За какой грех закован? Правду глаголь. Срамные уста лживостью сами себя губят. А Бог, он все видит и слышит.

— Воды! Хоть глоток воды!..

Подумав, старец оглянулся на мужиков:

— Скажите там Ефимии, пусть принесет для болящего, пришло с ветра. Живо мне!

Один из мужиков побежал. Старец опустил на колени и осмотрел, как заклепаны железные кольца на ногах.

— Эко! Крепко привязал тебя царь своей милостью-радостью. Ну да цепи люди сымут. Вольным будешь, ежели скажешь, пошто закован.

— За восстание закован. Царю Николаю не присягнул.

— Царю-анчихристу?! Дивно! За восстание, говоришь?

Лопарев полагал: вся Русь знает про то, что свершилось четырнадцатого декабря. Но старец про восстание ничего не слышал.

— В самом Петербурге? Тихо, Божьи люди!